



Марат Гринберг

Marat Grinberg

Пророки знали, что в великом Слове Бог унижен, а в ничтожном Слове вовсе нет Бога... Однако давно уже нет пророков, и давно уж многократно унижено Божье, прежде чем приблизилось оно к народу через ничтожное. Потому так ценно сегодня даже и случайное Слово... Даже человеческое Слово, опережающее Божий смысл..

— Ф. Горенштейн, "Псалом"

*Великий, дивный голод — мир о нем
Еще не слышал: Голод не о хлебе
И зрелищах, — но голод — о Мессии.
— Х. Н. Бялик*

"— Авраам, не бойся, — сказал Господь Зачинателю.

Это было одно из основных положений Договора Господа с Авраамом и превращения Аврама в

* — в иудаизме традиционная похвальная речь, произносимая над умершим

The prophets knew that God's glory degrades when conveyed through the Great Word, while in mere words there is no God at all... However, no prophets walked the earth since the days of old and the divine had been greatly degraded before it drew nearer people through petty human means. That is why even a contingent Word is so valuable today... Even a human Word, which supersedes the Godly wisdom...

— F. Gorenstein, *The Psalm*

There is a great, wondrous hunger, of which the world had not yet heard: the Hunger not for bread and spectacle, but the hunger for Messiah.

— C. N. Bialik

"Abraham, have no fear, — said God to the Forefather."

"This was one of the essential conditions of the covenant between the Almighty and Abraham, of Abram's transformation into Abraham, transformation of the Babylonian nomad into the Beginner of God's

* — in Judaism, a traditional eulogy said over a deceased

Авраама, превращения вавилонского странника в Зачинателя Господнего народа... Но те, кто размножились в Египте возле мясных котлов рабства, начали забывать Господа, расторгнув первым делом именно этот с ним Договор.”

Приведенные слова глубоки и поразительны во многих отношениях: философском, теологическом, историческом. Независимо от того, соглашается с ними читатель или нет, понятно, что затрагивают они нечто исключительно важное и сокровенное, проникают туда, куда вход вообще недоступен — в Святая Святыих Народа, загадку его существования и падений. Эти слова написаны евреем и обращены к евреям. Дабы понять суть Господнего народа, автор обращается к его святым текстам и таким образом становится комментатором, создателем еще одного мидраша в цепи, которая, как учили раввины древности, простирается от нашего учителя Моисея до талмудических академий Явне, а от них уже — в вечность. И все же кажется, что наиболее поразительным аспектом этих слов является их язык. Ведь продуманы, написаны они были не логикой и квадратными буквами божьего языка, а кириллицей — языком чистого гения Пушкина и богоборца Достоевского. Создается впечатление, что всей своей недавно оборвавшейся жизнью Фридрих Горенштейн (слова взяты из его романа “Псалом”) утверждал именно это — право быть еврейским писателем, еврейским мыслителем, еврейским комментатором на русском языке и его полемика с Достоевским, создававшим своими писаниями Храм страждущей русской души, проистекает именно из этого. Понятно, что творчество Горенштейна многогранно и потому не вписывается в рамки чего-то узко-национального. Используя терминологию еврейского философа Кука, написанное Горенштейном можно представить трехголосой песней, поднимающейся от личностного — к народному — и, в конце концов, к универсальному, которое у Горенштейна, скорее всего, является божественным. Но опять-таки: уникальность видения Горенштейна состоит в том, что понятия национального и божественного в нем неразделимы. Он не просто создавал еврейскую литературу по-русски о евреях и для евреев: он писал летопись народа пером, не побоюсь слова, жестокого критика, пытаясь понять величие народа в прошлом, падение в настоящем и вероятное возрождение в будущем.

nation... But those who multiplied in Egypt around meat cauldrons of slavery, started to forget God, thus breaking, first, precisely this part of the covenant with Him.”

The words given above are profound and striking in many respects: philosophic, theological, historic. Whether the reader agrees, or disagrees with them, they touch upon something extremely important and sacred; penetrate into where the access is in general inaccessible: the People’s Holy of Holies, the riddle of their existence and falls. These words were written by a Jew and are addressed to Jews. In order to understand the essence of God’s people, the author turns to their sacred texts and thus becomes a commentator, a creator of yet another *midrash* in the chain, which, as taught the rabbis of old, stretches from Moses our teacher to the Talmudic academies of Yavne and from them straight into eternity. Yet it seems that the most startling aspect of these words is their language. For indeed, they were thought through and written neither with the logic of the holy tongue, nor with its block letters, but *with* and *in* Cyrillic — the language of Pushkin’s pure genius and of Dostoevsky’s Jobian questions. It is this author’s impression that with his entire life, recently cut short, Friedrikh Gorenshstein claimed precisely *this*: one’s right to be a Jewish writer, a Jewish thinker, and a Jewish commentator in Russian and his polemics with Dostoevsky, whose writings were a shrine to the tormented Russian soul, certainly stems from *this*. It is everyone’s understanding that Gorenshstein’s oeuvre is multifarious and therefore cannot be confined to any narrow national framework. To use the terminology of Jewish philosopher Kook, Gorenshstein’s texts can be presented as a three-voice song, which rises from the individual level — to the national — and ultimately to the universal, which, in Gorenshstein’s case, emerges most likely as the divine. Yet again, the uniqueness of Gorenshstein’s vision lies in the fact that the notions of national and divine are inseparable in it. He did not simply create a Jewish literature in the Russian language about the Jews and for the Jews; he wrote the people’s chronicle with a pen of a ruthless critic, who thus attempted to comprehend the people’s greatness in the past, their fall in the present and a probable redemption in the future.

Gorenshstein knew that he was a writer, not a prophet, yet it is to the inveighing cries of biblical jeremiahs and isaiahs is where he traces his creative geneal-

Горенштейн знал, что был писателем - не пророком, и все же именно от негодующих криков библейских иеремий и исай ведет он свою творческую родословную. Как и они, он ведал прорасть, разделяющую вечный дух избранного народа и реалии воплощения этого духа в повседневности. Горенштейн корил евреев за то, что никак им не избавиться от зловония "мясных котлов рабства", за то, что страшатся они всего и вся. В "Псаломе" автор определяет *беззащитность* как основной грех еврейства. Всеми своими корнями оценка Горенштейном исторического положения евреев в Изгнании упирается в сионистскую полемику начала прошлого века. Заставляя евреев вновь войти в историю и стать народом Макавеев, а не иешив, новоявленные сионисты тыкали своим соплеменникам в лицо их же беззащитностью, в какой то мере наивно полагая, что разрешив еврейскую проблему политически и идеологически, они разрешат ее и экзистенциально. Видение Горенштейна, писателя пост-Холокост эры, сложнее: даже избавившись от беззащитности, евреев продолжает быть ненавидим христианским миром, являясь напоминанием ему истинного Завета и Иисуса, нетронутого христианскими богословами. В этом заключается основополагающая черта Горенштейна как еврейского писателя. Создавая свои комментарии о перепетиях еврейских судеб от Зачинателя Авраама до Киева 50-х годов, представляя себя как писателя-мыслителя, художника-пророка, он выступил также обвинителем народа, чей язык был и его языком, более того он похитил прерогативу говорить об Иисусе у евреев-выкрестов и христиан.

В мире Горенштейна антисемитизм неистребим. О его причинах он пишет в "Псаломе":

Евреи как люди так же дурны, как все иное человечество. Но как историческое образование, как библейское явление это народ близкий Богу, а человек по сути своей ненавидит Бога, поэтому он ненавидит и евреев, и поэтому многие евреи как люди ненавидят себя и свою библейскую судьбу. Это так важно, что хочется повторить еще раз несколько иными словами.

Конечно, еврей как человек так же дурен, как и все люди, но еврей как еврей есть, согласно Библии, часть народа Божия, а поскольку человек Бога и чтоб верить в Бога, ему надо преодолеть свою, проклятую Богом, человеческую природу и лишь не-

ogy. As well as they did, he knew the abyss which separates the chosen people's eternal spirit from the realities of embodying this spirit in *the everyday*. Gorenshstein reproached Jews for their constant inability to cleanse themselves of the stench of "meat cauldrons of slavery," for their fear of anything and anybody. In *The Psalm*, the author defines *defenselessness* as the main Jewish sin. The roots of Gorenshstein's evaluation of the historic condition of Jews in exile are to be found in the Zionist polemic of the beginning of the past century. In forcing the Jews to reenter history and become the people of Maccabees instead of *yeshivas*, the new born Zionists jabbed their brethren for this defenselessness, naively hoping, in a way, that by resolving the Jewish problem politically and ideologically, they would resolve it existentially as well. Gorenshstein's vision, that of the writer of post-Holocaust era, is more complex: even when disposed of his defenselessness, the Jew continues to be hated by the Christian world, existing as a reminder to it of the true Covenant and of Jesus, untouched by Christian theologians. Here lies the principal quality of Gorenshstein as a Jewish writer. In creating his commentaries on the entanglements of Jewish destinies from Abraham the Beginner to Kiev of 1950's, in presenting himself as a creative thinker, a prophetic artist, he emerged as an indicter of the people, whose language was his language as well; furthermore, he stole the prerogative to speak of Jesus from baptized Jews and Christians.

In Gorenshstein's universe, anti-Semitism is indestructible. He writes about its origins in *The Psalm*:

As human beings, Jews are as bad as the rest of humanity. But as a historic product, as a biblical phenomenon these people are close to God; because of his nature, man hates God and therefore, he hates Jews as well; thus also many Jews, as human beings, hate themselves and their biblical destiny. This is so important that I'd like to repeat it in different words.

Of course, the Jew as a human being is as bad as the rest of people, but as a Jew the Jew is, according to the Bible, part of God's nation, and since man is God's enemy and in order for him to believe in God he has to overcome his cursed human nature, and very few succeed in doing so: because of this human hatred toward the Jew is natural.

Despite the fact that anti-Semitism is natural, enemies of the Jews are punished severely in Gorenshstein's

многим это удастся, то его ненависть к еврею вполне естественна.

Несмотря на то, что антисемитизм естественен, враги евреев жестоко караются в книгах Горенштейна, как впрочем и еврей-выкресты. Но именно потому, что он естественен, как естественно и человеческое зло вообще, Горенштейн серьезно относится к его образам и языку. Без антисемитизма невозможно понять русский характер. В советское время, при разгроме религии, он продолжает свирепствовать в русской душе. Вспомним о еврейских погромах в "Месте", старике, ведающим внукам в голодном украинском селе о богатые Иисусе, поверженном жидами, и матери с дочкой, пришедшей в Третьяковскую галерею в брежневской Москве, и шепчущей там дочери перед картиной Иванова "Явление Христа народу": "— Это Христос, ... — он хотел, чтоб всем людям было хорошо, за то его евреи убили" ("Псалом"). Определив ненависть к евреям как неотделимую часть русской, да и человеческой души вообще, Горенштейн проделывает трюк, известный в анналах еврейской литературы, но уникальный в ее русском еврейском выражении. Он похищает антисемитский язык, узурпирует его и таким образом обезоруживает евреев-ненавистников, оставляя их, как Карабаса Барабаса, сидящими в луже.

"Псалом", спорно являющийся наиболее сильным романом Горенштейна, тому пример. Главный его герой, еврей-Антихрист, предстает посланником Бога и родным братом Иисуса. "— Вы, антисемиты, правы, утверждая, что Антихрист является евреем, пришедшим разрушить Россию, — как бы говорит Горенштейн и продолжает, — но не разглядели вы главного: от Бога он и казни его — суть плана божьего". Возвращает Горенштейн и Иисуса в еврейское лоно. И в этом он идет дальше, чем, скажем, Бубер и Розенцвейг, определявшие Иисуса как еврейского пророка. Иисус Горенштейна не просто еврейский пророк, чей образ был насильно искажен христианскими богословами. Он (и тут автор опять, как и с антисемитским линго, буквально воспринимает язык Евангелий, придавая ему свой смысл, который сводит на нет христианские толкования) признает, что Иисус был сыном божьим, да и не мог он быть никем иным, ибо каждый потомок Авраама — сын Божий, часть народа-виноградника, возвращенного самим Всевышним. Да, соглашается Горенштейн, Иисус был царем евреев, но ни в каком либо заоб-

books, as are the baptized Jews. But precisely because it is natural, as is all human evil, Gorenstein treats anti-Semitic images and language with all seriousness. It is impossible to understand the Russian national character without considering anti-Semitism. In the Soviet times, under the destruction of religion, it continued to rage in the Russian soul. One should recall here Jewish pogroms in *The Place*; an old man, telling his grandchildren in the hungry Ukrainian village of Jesus — the folk tale night, fallen from Jewish hands; a mother with her daughter, coming to the Tretyakov gallery in Brezhnev's Moscow and whispering in front of Ivanov's canvas, "Christ's Appearance to the People": "This is Christ, ... he wanted happiness for everybody, that's why the Jews killed him." (*The Psalm*). Having defined hatred toward Jews as an inseparable part of the Russian, as well as human soul in general, Gorenstein performs a trick, known in the annals of Jewish literature, though unique in its Russian Jewish manifestation. He kidnaps the anti-Semitic language, usurps it and thus disarms Jew-haters, leaving them in a puddle, like Karabas Barabas.

The Psalm, arguably Gorenstein's most powerful novel, is an example of this. Its protagonist, Jew the Antichrist, emerges as God's messenger and Jesus' blood brother. "You, the anti-Semites, are right in claiming that the Antichrist is a Jew who came to destroy Russia," Gorenstein seems to be saying and continues, "but you haven't discerned the most important: He is from God and his plagues are God's plan incarnate." Gorenstein returns Jesus to the Jewish camp as well. In doing so, he goes farther than did, say, Buber and Rosenzweig, who defined Jesus as a Jewish prophet. Gorenstein's Jesus is not merely a Jewish prophet, whose image was violently distorted by Christian theologians. He (and here the author again, as is in the case with anti-Semitic lingo, perceives the Gospel language literally, imparting to it his meaning, which makes Christian interpretations null and void) acknowledges that Jesus was God's son, for indeed he could not have been anyone else, since every one of Abraham's progeny is God's son, part of the vineyard-like nation, tended to by the Almighty himself. Indeed, Gorenstein agrees that Jesus was King of the Jews, though not in any allegorical sense, but in a strictly nationalistic one: Jesus was another maccabee, who reminded his enslaved people of the fearlessness of their spirit. Thus Gorenstein leaves the enemies of the

льном смысле, а в сугубо националистическом — Христос был очередным макавеем, напоминавшим своему поработанному народу о бесстрашии его духа. Так Горенштейн оставляет врагов евреев обезоруженными, лишенными, с их немymi иконами, даже своего Бога. Наколько исторически идеологически эффективен этот метод — вопрос, безусловно, неоднозначный, но неоспоримо то, что он исключительно эстетически силен и глубок. Как было сказано раньше, этот прием известен в еврейской литературе. Его знал Кафка. В одном из своих последних рассказов, “Певница Джозефина или мышиный народ”, Кафка использовал один из наиболее распространенных антисемитских образов своего времени (евреи — мыши), внедряя его в свое видение будущего и настоящего евреев. Возможно, утверждает Кафка, мышь Джозефина лишь питтит, возможно ее народ погряз в мелочах и грязи жизни, но дух, исходящий из этого писка и объединяющий народ, — вечен, как сам Превечный. Это, более всего остального, знал и Горенштейн, дико и вдохновенно писавший о еврейских женщинах в “Псаломе”:

Когда народ пал духом, то первым делом это на женщине отражается, ведь женщина создает национальный облик народа. В бытовых концлагерях — местечках, среди кислых брачных ночей двоюродных братьев с двоюродными сестрами, в духоте, чтобы сквозняк не простудил чахоточные лёгкие, от поколения к поколению все более унижался прекрасный облик библейских красавиц... Потому все случайно сохранившее здоровые истоки старалось бежать из еврейства, несмотря на суровые запреты талмудистов-догматиков, здоровое бежало, спасало себя из бытовых концлагерей, куда были заперты евреи для разложения и вырождения... Они бежали от еврейского, чтобы сохранить в себе человеческое. Но цена, которую они при этом заплатили стала понятна гораздо позднее, хоть и поныне не всем она понятна. Гораздо дороже она цены, которую заплатил Фауст Мефистофелю. Не душу они продали, а дух. Душа сохраняет в человеке человека, дух — сохраняет в человеке Бога. Бежавшие из еврейства спасали душу, но губили дух...

Нечто подобное писал Бялик, Жаботинский. Короче говоря, эти слова мог написать лишь творец, не плюнувший, при прощании, в сторону евреев, как Багрицкий в “Происхождении”, а оставшийся со своим народом, несмотря на язык своего Слова.

Jews disarmed, deprived, with their mute icons, of even their god. Historical and ideological effectiveness of this method is, obviously, an equivocal question, but it is beyond argument extremely aesthetically sound and profound. As was said earlier, such device is known in Jewish literature. It was known by Kafka. In one of his last short stories, “Josephine the Singer, or the Mouse Folk,” Kafka used one of the most widely spread anti-Semitic images of his time (Jews-mice), inserting it into his vision of the future and present of the Jews. Perhaps, claims Kafka, Josephine the mouse merely pipes; perhaps her people are bugged down in the pettiness and dirt of life, but the spirit, emanating from this piping and capable of uniting the people, is eternal, as is the Prehistoric One Himself. Gorenshtein, who savagely and inspiringly wrote of Jewish women in *The Psalm*, stated, more than anything else, precisely this:

When the people’s spirit fell, first and foremost it was reflected on the female, since it is the woman who creates the people’s national image. In household-concentration camps, *shtetlakh*, in the midst of sour wedding nights between male and female cousins, so that a draught would not initiate a cold in their tubercular lungs, from generation to generation the beautiful look of the progeny of biblical women was becoming more and more debased...

Therefore, who ever accidentally preserved healthy streaks in themselves tried to run away from anything Jewish despite severe prohibitions of dogmatic talmudists. The healthy ran, saved themselves from household-concentration camps, where the Jews were locked up to decompose and degrade... They ran from the Jewish in order to preserve themselves as humans. But the price, which they paid became understood only later, though even now it is still not understood by everyone. It is much higher than the price which Faust paid to Mephistopheles. It wasn’t their soul they sold, but their spirit. The soul preserves human being in a human being, the spirit preserves God. Runaways from the Jewry were saving their souls, but wasted their spirit...

Bialik, and Jabotinsky wrote something similar. In short, such words could have been written only by an artist who did not spit at the side of the Jews, while bidding them farewell, as did Bagritskii’s speaker in “Origin,” but who remained with his people, despite the language of his Word.

Addressing the history of Russian Jewish litera-

Подымая вопрос об истории русской еврейской литературы, приходишь к выводу, что как таковая она никогда по-настоящему не существовала. Да, были Бабель, а потом и Гроссман, и Слуцкий, и все же являлись они изначально и остались, прежде всего, русскими писателями. Их еврейская тема была местами навязчивой, местами еле заметной, иногда пронизательной, но никогда она не стала их Сионом, ибо для них таковым был Петербург, Париж, Ясная Поляна, Интернационал или, в конце концов, самый русский язык. И даже когда художник слова-еврей по рождению — возвращался к своему еврейству, к самим евреям это не имело никакого отношения. Так вдова поэта писала о Мандельштаме во “Второй книге”:

Мандельштам... — никогда не забывал, что он еврей, но “память крови” была у него своеобразная. Она восходила к праотцам и к Испании, к Средиземноморью, а скитальческий путь отцов через Центральную Европу он начисто позабыл.

Иначе говоря, он ощущал связь с пастухами и царями Библии, с александрийскими и испанскими евреями, поэтами и философами и даже подобрал себе среди них родственника: испанского поэта, которого инквизиция держала на цепи в подземелье.

То есть еврейство Мандельштама, согласно Надежде Яковлевне и она в этом права, было продолжением его творческого кредо, а вовсе не искренним интересом к судьбам народа израилева. Опять таки Сионом его был не Иерусалим и не местечко, а Петербург. На этом фоне Горенштейн представляется единственным серьезным русским еврейским писателем, для которого еврейская тема была не вдруг всплывающей, а стержнем, на котором держался весь его художественный мир и из которого, как и у Кафки, рождалось его понимание истории, морали, Слова. И как истинный еврейский творец, он страдал не беспамятством, а переизбытком памяти, храня в себе все скитальческие пути отцов и матерей. Писал он по-русски, не стесняясь, заводя полемику с теми, кому писать на этом языке велела, как будто, сама природа; заводя диалог между собой и Иеремией, и Иезикелем, и всеми пророками библейского племени. Таким образом, единолично, Горенштейн создал на русском языке, посредством библейских комментариев, исторической памяти и узурпацией антисемитской идеологии и христианской теологии, самостоятельный еврейский дискурс. Для справедливости скажем, что лишь Слуцкий, в некоторых из

ture, one arrives at the conclusion that it never truly existed, as such. Indeed, there were Babel, and then Grossman, and Slutskii, yet they were originally and remained toward the end, first and foremost, Russian writers. Their Jewish theme was at times an *idee fixe*, at times barely noticeable and sometimes insightful, but it never became their Zion, since for them such was Petersburg, Paris, Iasnaia Poliana, the International, or, ultimately, the Russian language itself. And even when an artist, a Jew by birth, was returning to his Jewishness, this had hardly anything to do with Jews themselves. Thus, the poet's widow wrote about Mandelstam in *Hope Abandoned*:

“Mandelstam never forgot that he was a Jew, but his “blood memory” was of a particular kind. It reached back to the forefathers and to Spain, to the Mediterranean, but the wandering journeys of fathers through Central Europe he completely forgot. In other words, he felt a connection with shepherds and kings of the Bible, with Alexandrian and Spanish Jews, poets and philosophers; he even picked a relative for himself among them: the Spanish poet who was kept by the Inquisition in chains in the dungeon.”

That is Mandelstam's Jewishness, according to Nadezhda Mandelstam and she is correct in this, was an extension of his creative credo, rather than the expression of a genuine interest in destinies of the people of Israel. Once again his Zion was neither Jerusalem, not a *shtetl*, but Petersburg. On such a background, Gorenshtein stands as the only serious Russian Jewish writer, for whom the Jewish theme was not something that would suddenly resurface, but a pivot, on which his entire artistic world rested and out which, as in Kafka, there emerged his understanding of history, morality, and the Word. And as a true Jewish creator, he suffered not from the lack of memory, but from the surplus of it, keeping in himself all the wandering ways of fathers and mothers. He wrote in Russian, feeling no inhibition, starting a polemic with those, to whom, it seemed, the nature itself willed to write in this language; starting a dialogue between himself and Jeremiah, and Ezekiel, and all the prophets of the biblical tribe. Thus, singularly, Gorenshtein created in the Russian language, by means of his biblical commentaries, historical memory, and the usurpation of anti-Semitic ideology and Christian theology, an independent Jewish discourse. To maintain justice, one should say that only Slutskii, in some of his poems, achieves something similar. It is not by accident that

своих стихотворений, достигает нечто подобного. Не случайно творчество Горенштейна было проигнорировано нынешними критиками: слишком вызывающе было оно, слишком выходило за рамки известного в русской литературе. Истинная оценка его — за будущим.

Вспоминая о Горенштейне, нельзя не отметить, что был он творцом, видевшим мироздание сквозь призму божественного, где Слово, “даже человеческое Слово” противостоит смерти. Так в “Псаломе” Антихрист, исполняя пророчество Иезекиила, возвращает к жизни кости расстрелянных немцами: “...стали сближаться кости друг к другу, и каждая кость, хоть и была далеко отброшена, нашла свою, и шум начался, и вот жилы на них и плоть выросли, и кожа покрыла их сверху...” Встав, они опять рассыпаются, ибо время окончательного спасения еще не подоспело. Придет же оно, утверждает Горенштейн, когда наступит у людей голод по Божьему Слову, когда истоскуются они, как писал Бялик, по Мессии - жажде спасения. Дело не в том, убедительно ли звучит это видение в постмодернистский век, а в том, что создать его мог лишь творец Слова, единый по духу пророкам библейской древности, близкий вечности, с которой он ныне, открыв “калитку в Ничто”, сошелся.

Gorenshtein's oeuvre was ignored by today's critics: it was too challenging; too radically did it cross the boundaries of what was known in Russian literature. The true evaluation of him belongs to the future.

Remembering Gorenshtein, it is worthy to note that he was a creator who saw the world order through the prism of the divine, where the Word, “even a human Word” resists death. Thus, in *The Psalm*, the Antichrist, fulfilling Ezekiel's prophecy, returns to life the bones of those who were shot by the Germans: “the bones began to approach one another, and every bone, though it was thrown far away, found its pair, and the noise began, and here sinews and flesh grew on them, and skin began to cover them on top...” Having arisen, they crumble again, since the time of ultimate redemption has not come yet. It will arrive though, Gorenshtein insists, when people will experience hunger for the Divine Word, when they, as Bialik wrote, will long for Messiah - the thirst for redemption. The issue is not whether this vision sounds convincing in the postmodern age, but that it could have been conceived of only by the creator of the Word, who was one with the spirit of prophets of biblical antiquity, who was close to eternity, which he now, having opened “the door into Nothingness,” joined.

Памяти Фридриха Горенштейна

Москва “Литературная газета”, 26 марта 2002

Уроженец города Киева, русский писатель, гражданин Германии Фридрих Горенштейн умер в Берлине за несколько дней до своего семидесятилетия.

Писатель — это от Бога, а не от отдела культуры ЦК КПСС, Литературного института или нынешнего пиара, надувающего читателей в особо крупных размерах.

При личном знакомстве он иногда казался собственным персонажем: brutальные шутки, нетерпимость к более удачливым коллегам, безапелляционные, часто несправедливые суждения.

За всем этим угадывалась настороженная и незащищенная душа сына “врага народа”, да к тому же еврея, да к тому же уникального “неудобного” таланта, не получившего при жизни своего МЕСТА (так назывался один из его лучших романов).

Я благодарен Фридриху за то, что знал его. Мне горько, что ушел еще один из мастеров русской прозы, который умел ВСЕ. Я буду любить и помнить его, как и других подлинных творцов слова — Юрия Казакова, Василия Шукшина, Юрия Трифонова, Владимира Максимова, Виктора Астафьева. Смерть решает жизненные споры, но справедливости на Земле нет.

Евгений ПОПОВ

*Translated by the author
March 2002, Chicago*